

СО СТОРОНЫ ВИДНЕЙ

РУССКИЙ БЕРЛИН В ВОСПОМИНАНИЯХ Д. В. ФИЛОСΟΦОВА

John Stuart Durrant

Для того чтобы постичь сущность и глубину какого-либо предмета необходимо рассматривать его не только в анфас но и в профиль, подобным же образом, по моему мнению, нужно поступать в изучении вопросов литературной истории, а поэтому было бы полезно оценить рассматриваемые нами события и причины этих событий со стороны человека, находящегося в роли наблюдателя за разворачивающейся картиной действий, причем, именно его мнение будет более объективно, чем мнение непосредственных участников событий.

Во время интервью в Montreux в 1966 году В. В. Набоков с присутствием ему своеобразно-индивидуальным и резким стилем высказался с писателях, которые выступили отступниками Белого движения, признав советскую власть, советский режим и вступив в отношения с большевиками после Октябрьской революции 1917 года. В одном из его живых воспоминаний о Берлине, Набоков говорит о случайной встрече в Берлинском ресторане с А. Белым и А. Толстым. Это воспоминание указывает на фундаментальные различия, которые Набоков ощущал между самим собой и теми, что он называет "*bolshevizans*"¹

Однажды в 1921 или в 1922 году в Берлинском ресторане, где я обедал с двумя девушками, случилось так, что я сидел спиной к спине с Андреем Белым, который обедал вместе с другим писателем, Алексеем Толстым за соседним столом. Оба писателя были в то время открыто просоветские (стоящие на точке возвращения в Россию), а *Белые русские*, к которым я себя отношу в этом особенном смысле, конечно, не захотят говорить с *болшевицанс*.¹

¹ V. Nabokov, *Strong opinions*, New York 1981, pp. 85-86 (Перевод моя — JSD).

Этот отрывок свидетеля давно ушедших от нас событий характеризует чувства и противоположные направления, которые характеризовали русский Берлин и эмигрантское общество вообще, разбитое на лагеря, базирующиеся на различной идеологии, классовости и вечной проблеме отцов и детей.

Цель этой статьи – детально рассмотреть жизнь русского Берлина, о которой Набоков только намекает, на основе цитат из неопубликованных статей Д. В. Философова, который вел летопись происходящих событий, записывал и собирал различные мнения, определенные детали и впечатления. В своих воспоминаниях он освещает разницу между различными фракциями и те отношения, которые существовали между Берлином и другими эмигрантскими центрами. Несмотря на то, что взгляды Д. В. Философова временами довольно резки, его свидетельства, несомненно, интересны, полезны и важны. Тем более, что для того, чтобы составить какое-либо мнение о уже прошедшей эпохе, и сделать какие-либо выводы, нужно обратиться к воспоминаниям различных людей, чтобы обобщить их и вывести из этого обобщения окончательное заключение.

Хотя Д. В. Философов, как наиболее крупная литературная величина русской колонии в Варшаве, не был активным участником эмигрантской жизни Берлина, он осторожно и внимательно изучал ее. Он проявил явственный критический интерес к истории Берлинской колонии и ее влиянию на то время, в котором они жили. Его статьи содержат острые замечания о литературных политических ссорах между членами русских эмигрантских кругов. Даже приведенные выше краткие замечания Набокова получают подтверждение и более широкое и глубокое значение в статьях Д. В. Философова. Его мнения и комментарии показывают, что это было время болезненное, несущее с собою скрытые намеки на трагедию. Философов предполагал, что для литературы это был период смущения и нервозности, творческих поисков нового выражения.

Эпоха рассматриваемая в этой статье закончилась, но она, конечно, не поддается легкому, краткому изложению. Ясно, что Д. В. Философов проделал огромный труд и уделил много критического внимания всей запутанности и сложности артистизма русских писателей в Берлине, но много статей, написанных Дмитрием Философовым показывают и другую сторону медали. Дело в том, что годы, которые последовали за Октябрьской революцией и Гражданской войной были полны разочарованности, расхождений во взглядах и безысходности. Но несмотря на это, в той тяжелой, спертой атмосфере, он нашел не-

сколько искр сохранившейся культуры. Великие люди старого творческого движения продолжали жить в это время, но они не производили интеграции в искусстве.

ФИЛОСОВОВ О ПОЛИТИКЕ

Философов неизменно повторяет свои идеалы литературной политики, утверждая, что эмигрантские центры русских писателей должны отождествлять самих себя с целью братства, справедливости и работы для общего демократического фронта, что будет препятствовать всем проявлениям большевизма. Несмотря на его интеллектуальную преданность демократическим идеям Третьей России, в активной борьбе за них ведённой Мережковскими и им самим в Польше, он непоколебимо оставался выше партий. Он всегда находил резкие слова для любого, кто не признавал этих идей, но долгое время не затрагивал своим критицизмом Берлинской колонии. Изменения в позиции Filosofova по отношению к русскому Берлину можно связать с убийством В. Д. Набокова в 1922 году:

Случайно погиб Владимир Дмитриевич Набоков [...].

Я же хочу лишь помянуть добрым словом видного русского политического деятеля, русского патриота, который, как и все люди, мог ошибаться, но всегда стремился к добру и ни разу, со дня выступления на политическую арену, не изменил своему знамени [...].

Незадолго до первой революции 1905 года, В. Д. Набоков совместно с проф. В. М. Гессеном, А. И. Каминкой, Л. И. Петражицким и др. основал еженедельную газету "Право", которая сыграла большую роль в русском конституционном движении и была некоторым образом одной из ячеек, на которой выросла впоследствии партия к.-д.

[...] Набоков занял вполне определенную позицию патриота и служил родине всеми своими силами.

Во время второй революции его деятельность протекала у всех на глазах. Он не занял никакого министерского поста, а был лишь управляющим совета министров при кн. Львове. Свой пост он покинул, когда из совета министров ушли члены его партии.

Спасшись от большевиков, он поселился в Берлине, и в последнее время основал вместе с И. В. Гессеном и А. И. Каминским газету "Руль", являющуюся органом правых кадетов, не приемлющих учредителей и приемлющих ген. Врангеля [...].

С Набоковым я познакомился лет тридцать тому назад, еще в университете (он окончил университет на несколько лет раньше меня),

но вместе с ним работать мне пришлось значительно позже, лишь начиная с 1909 года, в газете "Речь". Я не состоял в партии к.-д., поэтому для меня он был лишь старшим товарищем по газете [...]

Это был либерал английского типа, политический и государственный деятель по преимуществу. [...]

Для него одинаково была неприемлима как отрицающая всякое право тирания самодержавца, так и еще худшая тирания большевиков (неизданная статья Д. В. Философова *Памяти В. Д. Набокова*, март 1922).

Всякие надежды о соединении общего фронта с берлинскими русскими видимо исчезли после этого трагического события: впоследствии Д. В. Философов не часто находил положительные слова для своих соседей. Характеризуя журнал "Накануне", он иронически называет его участников преданными "Совбуризму" и сравнивает их с героями *Бесов* Достоевского:

Особенно это ощущается нами русскими, как находящимися в России, так и эмигрантами; рассыпанными по всему земному шару. С этой точки зрения, гибель Набокова не более как маленький, ничтожный случай, так сказать, бытовое явление.

Однако именно смерть Набокова почему-то выходит за пределы несчастного случая.

Она имеет глубокий внутренний смысл, глубокое символическое значение. И, может быть, кровь безвременно погибшего русского политического деятеля пролита не бессмысленно. Может быть, вопреки злему умыслу убийц, эта невинная кровь послужит к оздоровлению русской эмиграции и русской политической массы.

Берлинская драма встревожила не только нас русских. Она встревожила и европейское общественное мнение [...].

Про Германию ничего сказать нельзя. Там такая варится каша, что сам черт ногу сломит [...].

Единый фронт демократических групп русской эмиграции находится в большой зависимости от образования единого фронта по отношению к Третьей России среди западной демократии (неизданная статья Д. В. Философова, *Бесы по неволе*, апрель 1922).

СОВЕТСКИЙ АЛЬЯНС В ГЕРМАНИИ

Философов показывает общество и культуру как главные препятствия в невыполнимой, по его мнению, работе. Он не скрывает своего презрения к этике среднего класса Германии. Многие из его субъективности

берет начало из его мыслей о Германии, как страны, в которой эмпирическое познание и позитивизм заняло более высокое положение над всеми остальными отношениями к ценностям вселенской духовной культуры. Как Мережковские, так и Философов показывают протестантизм как индивидуалистическую, националистическую светскую религию, лишенную вселенскости и преданной вере в человека-бога. Она лишена резких контуров мистического спиритуализма, смиренного дыхания русского христианства.

Философов осознавал поверхностность мышления германцев и их неуважение к ценностям вселенской культуры в растущей дисгармонии внутри Веймарской Республики, что могло принизить и осквернить русские ценности, духовные традиции и литературные созидания, и подвергнуть опасности самую русскую эмигрантскую культуру. Опасения Философофа чувствуются в его *Письме из Берлина*, датированном 12 ноября 1923 года:

Печатное дело в Германии является одной из крупнейших отраслей промышленности. Еще в царское время к услугам наших русских изящных изданий в Берлине и особенно в Лейпциге имелся целый ряд хорошо оборудованных типо-литографий и, как это ни дико, русская книга, отпечатанная здесь, значительно дешевле обходилась издателям, чем в самой Москве или Петербурге. Сотни рабочих были заняты выпуском русских книг, не говоря уже о нелегальных изданиях, также печатавшихся в Германии.

Последняя эмиграция значительно усилила развитие типографской деятельности в Германии. Большинство, даже мелких, типографий начало обзаводиться русским шрифтом, спешно изучали русские кассы немецкие наборщики. Постепенно, с разрастающимся общим экономическим кризисом, сокращалась издательская деятельность. Меньше на рынке начало появляться книг, многие совершенно прекратили свою деятельность, кое-кто переехал в иные страны [...].

Прежде всего, небывалый застой в делах не дает им возможности позволить себе лишний расход на рекламу, затем, и объявлять то нечего. Большинство крупных торговых предприятий, особенно из тех, в которых евреи являлись владельцами, стоят неделями закрытыми. Никто не рискует открыть свою лавочку, не будучи уверен, что его не посетит банда саврасов, вооруженных палками, не разгромит склада, а в лучшем случае, раздел до нижнего белья самого владельца, не заставит его бежать в таком виде несколько кварталов домой [...].

Самое страшное — это абсолютное неверие, что может быть завтра. На правительство никто не возлагает никаких надежд, жизнь про-

скальзывает как-то по инерции. Вместо облегчения, каждый день преподносит все новый сюрприз. Останавливаются предприятия, усиливаются кадры голодных безработных, масса выходит на улицу [...] Здесь даже железная дисциплина германского народа становится беспомощной. Раздеваются все более прилично одетые, у женщин срываются кольца, серьги и браслеты, окраина делает попытку проникнуть в центр, на улицы, по которым, по ее мнению, ходят исключительно “буржуи”. Здесь не нужно быть коммунистом для того, чтобы понять психологию разбушевавшейся стихии. Вся суть в том, кто из партийцев сумеет схватить дирижерскую палочку в свои руки, кто сумеет стихию направить в свое русло, за кем пойдет обалдевшая масса.

Самая сильная и влиятельная в Германии политическая партия социал-демократов чувствует, как масса ускользает от ее влияния. И получается довольно оригинальное явление. Масса, ошестинившаяся и готовая всегда ко всяким эксцессам, склонна бесчинствовать и грабить на улицах, непрочь, может быть, устроить “Варфоломеевскую ночь”, и в то же время она не поддается влиянию коммунистов. Напрасно Москва тратит свои последние крохи на разжигание страстей, напрасно она выбросила целую массу лучших пропагандистов и агитаторов. Они сами по себе, а масса сама по себе. Она все время уклоняется вправо, более чутко прислушивается к наговорам из правых кругов, она больше верит, что весь корень зла таится в евреях, и всей своей силой обрушилась именно на еврейство, все время обнаруживая наклонности в сторону погромов (Записки Д. В. Философова, *Письмо из Берлина*, 12 ноября 1923).

Философов видел рост советских ценностей, указывающих на проникновение в гармонию дисгармонии Советского мира. В его воспоминаниях, общество русского Берлина было слишком склонно и к советизации в политике и культуре.

СОВЕТСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В БЕРЛИНЕ

В начале 1921 года, когда Мережковские покинули Варшаву и стали проживать в Висбадене, Философов и Дмитрий Мережковский начали предвидеть возможность проникновения вовнутрь и приобретения опоры среди эмигрантского населения советскими эмиссарами заграницей, особенно в Берлине. Так, например, они считали Максима Горького потенциальным агентом, манипулирующим своими германскими зна-

комствами и писателями. Растущее опасение Filosofova такого проникновения убедило его в необходимости практиковать такую литературную политику, какую он проделал в Польше, и, по возможности, формировать тип теневого кабинета, который мог бы быть использован писателями в убеждении людей, стоящих у государственной власти, к осуществлению политики, благоприятной для русской демократии. Однако, Filosofov не видел таких возможностей в Берлине, скорее он вел летопись своих предупреждений и предчувствий роста уязвимости Русского Берлина:

[...] в Германию прибыли две группы секретных сотрудников ГПУ, окончивших специальные курсы в Москве. Среди этих групп находится семь ответственных сотрудников или особоуполномоченных отдела ГПУ.

В числе сотрудников находятся в большинстве лица из бывших эмигрантов, работающих в секретных большевистских отделах, прошедших специальные курсы и в данный момент командированных за границу, "Товарищи особоуполномоченные", причисленные к разным советским делегациям под видом сотрудников.

Заграничный отдел ГПУ в Германии согласно инструкции ГПУ собирает сведения об эмигрантских организациях: союзах, объединениях, кружках, землячествах. Особое внимание обращено на лиц, подавших заявление о возвращении в Россию, а также на лиц, имеющих родственников в России.

В берлинском представительстве получен список в 1.400 бывших военных, возвратившихся в Россию, о которых собираются срочно сведения о их деятельности за границей.

Все эмигрантские организации отделом ГПУ разделяются на две категории: политические и культурно-просветительные. К первой категории относятся союзы, а ко второй кружки; главное внимание обращено на союзы журналистов и литераторов и на союзы офицеров [...]

Отдел прессы полпреда в Берлине, при котором находится также особоуполномоченный ГПУ, получил "циркуляр" из Москвы доставить сведения о всех журналистах и литераторах, работающих в эмигрантской и заграничной печати, а также и всех русских гражданах, состоявших на службе у иностранных корреспондентов, хотя бы занимающих и "неответственные" должности. Кроме того ГПУ интересуется корреспондентами, бывшими ранее в России (Записки Д. В. Filosofova, *Советский надзор за эмиграцией*, ноябрь 1923).

РУССКИЕ АФИНЫ В БЕРЛИНЕ

Личные воспоминания Н. Берберовой о Русском Берлине в книге *Курсив мой* резко контрастируют с записками Д. Философова о культурной жизни города. Далекий от вдохновения соучастия Нины Берберовой, Дмитрий Владимирович характеризует русских в Берлине, как плохо подготовленных к какому-либо виду демократии и сравнивает Русский Берлин с Афинами периода упадка, не способными к творчеству и созиданию. С одной стороны, Философов предупреждает, что просвещение придет только через посредство моральных и интеллектуальных изменений, но с другой, обращаясь вновь к литературной политике, он не видит возможности изменить умонастроение города через русские журналы, выходящие в Берлине и через таких писателей как Алексей Толстой, которому адресуются нелестные, критические замечания:

В Берлине народ более сытый, разухабистый.

Петербургские отбросы на голодный желудок все-таки что-то лепечут об идеологии. В Берлине дело обстоит проще. Здесь прикидывают по счетам и говорят стилем приснопамятного “Нового Времени”.

Берлин вообще превратился в “Русские Афины”. Там собрался цвет России. Там убивают Набокова, там Радек предсказывает быструю революцию, там “Берлинер Тагеблатт”, этот устоя биржевой торговлишки, братается с Чичериным и Иоффе, туда едет Брюсов, Щеголев [...] Словом Афины времен упадка, где риторы за одну драхму готовы были доказать, что белое — черное, а за две драхмы воспеть и прославить не только Троцкого, но и жену его, и тещу его, и всю родню его.

Роль Лемке в Берлине исполняет А. Бобрищев-Пушкин. Вы спросите: который? Я отвечаю: тот самый “Громобой” из правых газет, недавний ультра-белогвардеец.

Он продавал себя большевикам по очень простой причине. Он почувствовал в них естество старой, царской охранки, старого Союза русского народа. Ему страшно не понравилось, что русские писатели и общественные деятели в Париже, как Чайковский, Милюков, Мережковский, Бунин, Куприн и др., изbleвали из своей среды столь непоколебимого и идейного человека, как Алексей Толстой, эту пчелку, которая собирает мед со всех цветочков.

И вот Бобрищев-Пушкин выступает на защиту этого невинного человека. Рассуждает этот новоявленный и неподкупный коммунист (в “Накануне”) следующим образом:

Есть только две силы: монархисты и коммунисты. Очень может быть, что на смену коммунистам придут монархисты. [...]

Одно только невозможно — это третья Россия, Россия демократическая.

Поэтому всякому, кто боится для России Сциллы монархии и Харибды анархии — надо поддерживать большевиков и его правительство, которое охраняет национальное достоинство России, “отразило польский натиск” и т.п. [...]

Отметим лишь это новое социологическое явление, тяготение отбросов к разлагающейся большевистской власти, в то время как люди более идейные, коммунисты более бескорыстные, бегут от удушающего зловония этих живых трупов [...].

Своеобразная идеология Бобрищевых-Пушкиных, выросшая в Берлине, чрезвычайно похожа на русскую политику немцев. Немцы ненавидят третью Россию. Лучше большевики, нежели Россия свободная. В Генуе они братаются с коммунистами, в Москву едет бар. Мальцан, а какой-то немецкий генерал делает в Москве парад Красной армии. Если поговорить наедине с Ратенау, Крупном, Стиннесом, то услышишь от них “идеологию”, ничем не отличающуюся от идеологии “Накануне” (Д. В. Filosofov, *Берлин вообще превратился в Русские Афины*, без даты).

ФИЛОСОФОВ Ө А. ТОЛСТОМ В БЕРЛИНЕ

Отношение Д. В. Filosofova к А. Толстому, в нижеследующей цитате, является эхом отношения В. В. Набокова в начале этой дискуссии. Левая ориентация А. Толстого и, по мнению Filosofova, его тотальное неприятие “внутренней эмиграции” и верности Третьей России, было очень типично для большинства писателей в Берлине. Их готовность быть признанными как социалисты и радикальные либералы ужасало Filosofova.

В России советская власть дошла до последней степени распада и разложения, потеряла всякое внутреннее содержание. С каждым днем распространяемые ее фимиазы становятся все удушливее.

Такой-же процесс разложения происходит и в русской эмиграции. Она слишком многочисленна. Большинство бежало вовсе не по каким-нибудь идейным побуждениям, а совершенно инстинктивно, ради сохранения своей шкуры. Какие, чорт, идеи могли быть у тех господ, имена коих стоят в заголовке газеты “Накануне” [...].

“Хочется верить”, пишут они по новой орфографии, что мы накануне дня всеобщего примирения. [...].

Господа-же Кирдецовы, Дюшены и проч., братаясь с Дзержинским, смеют говорить о каком-то всеобщем примирении!

Братаются же эти фортепьянщики именно ни с кем иным, как с Дзержинским.

Дзержинский подготавливает в Москве суд над эс-эрами [...].

“Фортепьянщик” из “Накануне”, братаящийся с Дзержинским сказал больше, нежели хотел. Выдал свой секрет [...].

Такими дешевыми духами является русская, разложившаяся в эмиграции, писательская братия. В “Накануне” участвует, напр., и довольно талантливый, но бесшабашный, писатель Алексей Толстой. Во время войны, он в качестве патриотического писателя участвовал в организованной английским послом Бьюкененом поездке русских писателей в Англию. Ездили они туда, вместе с В. Д. Набоковым. Еще совсем недавно, его роман печатался в органе правых эс-эров “Современные записки”. Теперь же он, очевидно ради почтовой платы, перекинулся к “фортепьянщикам”, и примирился с Дзержинским, который грозит расстрелять друзей “Современных записок”.

Фигурирует в “Накануне” и З. А. Венгерова. Сия госпожа, в качестве новой г-жи Курдюковой, предприняла вояж по Европе. Если она так довольна существующим в России режимом, почему она уехала? Минского пока еще в “Накануне” нет. Но госпожа Венгерова встречается с ним в “Бюллетене дома искусств в Берлине”, где Минский, увы, вместе с Ремизовым играет первую роль. Это уже не “фортепиано” с фимиазмами, а механизм более усовершенствованный, патентованный и якобы без запаха. Но душок есть, и очень плохой.

Любопытно, что все эти комбинации с дурно пахнущими предметами происходят в Берлине. Во время войны, немцы, как говорят, добывали из человеческих трупов глицерин (неизданная статья Д. В. Философова, *Фортепьянщики*, апрель 1922).

Руль

Философов, долго молчавший о берлинском журнале “Руль”, высказывает о нем свои наиболее саркастические суждения. Дело в том, что после убийства редактора “Руля” В. Д. Набокова направление статей в журнале резко изменилось в сторону поддержки политики, проводимой Германским правительством, которое, в свою очередь, вело политику сближения с большевистской России и поддержки большевиков вообще, рассчитывая на взятие таким способом реванша против Франции и Польши. Философов считает такую политику “Руля” недопустимой и открыто выступает против нее:

Вчера я читал интересную выдержку из "Руля". Орган правых кадетов счел своим нравственным (и политическим?) долгом выступить на защиту бедной Германии, изнемогающей под гнетом Версальского мира и (малосильно) контрибуции, которой, кстати сказать, до сих пор расплачивается с бывшими победителями со стороны союзников [...]

Обратимся к его неразумности. Никто не может упрекнуть "Руль" в некоем отношении к коммунистам. В редакции работают русские кадеты, которые по своему — пусть с нашей точки зрения неправильно — борются с засильем большевиков поработивших Россию [...].

Недавняя слезница "Руля" есть несомненно, некое содействие, пусть несознательное, закреплению советской власти. Берлин с коммунистами правой рукой, "Руль" поддерживает их левой [...].

Она ежедневно льет слезы над своей бедной родиной, что вполне почтенно и понятно, травит Францию, травит Польшу, что несколько менее почтенно и понятно, и наконец всячески поддерживает советское правительство. Это вполне логично и последовательно. Стержень теперешней немецкой политики именно использование большевиков, как орудия для реванша, как орудия для шантажа по адресу Франции и Польши [...]

Он хочет во что бы то ни стало доказать, что советская власть крепка, что новая экономическая политика в России восторжествовала, и таким образом своими аргументами поддержать русскую политику германского правительства [...]

В Петербург он приехал вскоре после Брест-Литовского мира незадолго до крушения германской армии. Надо было видеть, какой у него был гордый вид, с какой готовностью он принимался за изучение России. Помню, я в довольно резкой форме заметил ему, что напрасно он так надеется на свою армию, и она может очень скоро разложиться. Он высокомерно мне ответил, не допуская даже мысли о чем-нибудь подобном. Однако, ему через несколько дней пришлось последовать примеру Гельфериха. Гельферих удрал, испугавшись убийства Мирбаха, теперь он, повидимому, удрал из Берлина, испугавшись своего морального участия в убийстве Ратенау. Фон Фосс уехал после ареста большевиками германского консульства. Тогда он обнаружил громадный дар предвидения по своим, немецким делам. Почему надо, теперь, особенно доверять его дару предвидения по делам русским? Ясно, что он подбирает доказательства к заранее предрешенному тезису.

Доказывать же этот тезис ему необходимо для поддержания не только русской, но и французской политики своего правительства.

“Руль” этого не может не понимать. Не может не понимать, что проливая слезы над бедной Германией, он как бы санкционирует фон Фосса, а следовательно, в корне подрывает свою, антибольшевицкую политику. Такая неопределенная позиция, которую можно назвать позицией сидения между двух стульев, недостойна серьезного политического органа. Надо уметь выбирать, и выбирать вовремя. К Врангелю, после убийства Набокова, “Руль” не знает как относиться, над Германией льет слезу, а с большевиками “борется” косвенно поддерживая фон Фоссов [...]

Когда после трагической кончины В. Д. Набокова, редакция “Свободы” послала по телеграфу выражения своего сочувствия редакции “Руля”, последняя нашу редакционную телеграмму стыдливо замолчала. Ограничилась упоминанием, что вот мол получены телеграммы от Португалова, Новгородцева, Амфитеатрова и др. А дело шло вовсе не о частной телеграмме Португалова и моей, а о телеграмме “Свободы”. Или может быть он услужливо исполняет пожелания бар. Мальцына?

Понятно, что при таких условиях настоящая статья останется без ответа.

Но это не важно.

Важно то, что нынешние руководители газеты, И. В. Гессен и М. И. Гонфман мое письмо прочтут. А если прочтут, то и подумают, так-ли они уж безусловно правы, как это иногда может показаться и на их спокойных, я бы сказал высокомерных, передовиц? (Д. Ф. Философов, “Без Руля”, За Свободу, 29 июля 1922, с. 2).

Наиболее пылким и откровенным противником Варшавской колонии в это время становится Александр Ал. Яблоновский (под направлением Ландау), работавший в Берлинском Руле, и старавшийся уязвить Д. В. Философова (особенно после ареста в России Бориса Савинкова), требуя категорического ответа от Философова о Савинкове, которого он обвиняет в предательстве, с заранее обдуманной намерениями. Причем, обвинения выдвинутые Яблоновским против Савинкова и Философова не имели под собой в то время никакой почвы и были построены лишь на предположениях и догадках. Та поспешность, с которой А. А. Яблоновский старается выступить против Б. Савинкова, дает нам повод думать как о его неискренности в этом вопросе, так и о том, что данное выступление; г. Яблоновского было вызвано лишь погоней за сенсацией. В защиту Б. Савинкова и Д. Философова выступает М. П. Арцыбашев. Он пишет статью *Фельетонная совесть*, в которой выступает против А. А. Яблоновского, обвиняя его в необоснованности, необъективности и слишком быстрой поспешности в выводах против Бориса Савинкова:

Давно я не был так угнетен душевно, как прочтя в “Руле” фельетон А. Яблоновского, под громким заглавием “Дело Савинкова” [...]

Есть только фельетонная легкость мыслей да легковесная фельетонная совесть, которые позволили талантливому журналисту выступить с убийственными обвинениями человека, сидящего в подвале Чеки и лишённого всякой возможности защититься.

Надо заметить, что до сих пор ни одна серьезная газета не сочла себя в праве вынести окончательное решение по делу Савинкова [...] Исключение составляет только “Руль”, который устами г. Ландау не только сразу и без оговорок вынес обвинительный приговор, но и направили внимание всех добровольных сыщиков на беллетристические произведения Савинкова, как “неоспоримое” доказательство его виновности [...].

Вообще беллетристика дело ненадежное, а психология беллетристического творчества — еще менее.

Но за то — это прекрасный матерьял для безответственной “игры ума”, для безнаказанного упряжжения в собственном остроумии.

И г. Яблоновский всецело использовал указания г. Ландау.

Весь его фельетон построен на пресловутых “Коне Бледном” и “Коне Вороном” [...].

Я уже писал о том, что благодаря исключительности личности Бориса Савинкова, ни у одного политического деятеля не было столько врагов, как у него. Но я никак не предполагал, что в числе этих врагов окажется и А. Яблоновский! [...]

И я утверждаю, что если бы даже г. Яблоновский, в конце концов, оказался прав, но в настоящий момент у него нет никаких оснований для такого приговора, и, вынося, его он, все-таки, совершает преступление перед человеческой совестью.

Когда эта статья была уже в наборе, я прочитал в “Руле” новую заметку г. А. Я., в которой автор требует от нашей газеты категорического ответа на вопрос о Савинкове:

“Или изменник, или мученик, или перелет, или жертва? Но нельзя в этом деле говорить и ‘да’ и ‘нет’...”

Все дело в том, и в том и смысл моей статьи о фельетонной совести, что для г. Яблоновского уже “да”. Категорическое да, не только изменник или перелет, но даже просто предатель, задолго обдумавший свое предательство [...].

Еще раз подчеркиваю, что я выступаю против Яблоновского потому, что он, во-первых, позволил себе категорически утверждать именно заранее обдуманное предательство Савинкова, к чему никакого основания нет даже в тех материалах, которые опубликованы самими большевиками, а во-вторых, потому что в его фельетоне было одно злорадование, совершенно недопустимое и непонятное со

стороны человека, который не может не понимать, что измена ли, предательство или что иное, но это удар не только по Савинкову, но по всему делу нашей общей борьбы с врагами России.

Что, по выражению Яблоновского, нам “кирпич упал на голову” — это верно. Но как г. Яблоновский, русский, не понимает, что кирпич упал на голову всем, и ему в том числе, и что недостойно с его стороны разыгрывать роль постороннего веселого прохожего (М. П. Арцыбашев, *Записки писателя*, неизданная глава “Фельетонная со-весть”, без даты).

В другом, более позднем эссе, Арцыбашев задается вопросом, почему многие из советских перебежчиков, выступают в “Руле” со своими излияниями души на тему: “Почему они стали работать с Советской Россией?” Публикации “исповедей” бывших советских работников проходят параллельно с их поддержкой. Это — все та же погоня за сенсацией, и в такой погоне “Руль” забывает о каких либо моральных нормах и личной ответственности писателя в судьбе своего народа в мировой истории. Своей статьей “Ренегаты” Арцыбашев, поддерживаемый философским, вскрывает истинные мотивы журнала в печатании таких признаний и исповедей:

За последнее время “Руль” специализировался на “видных спецах” и раскаявшихся коммунистах. То и дело на страницах этой газеты появляется жирный анонс, гласящий, что “завтра будет напечатана” [...].

Началось это с пресловутого Бадьяна. За Бадьяном последовал “старый друг”. За “другом” — какой то “торгпредчик”. За ним — раскаявшийся коммунист-писатель Ярославский.

Теперь наступила очередь целого “красного генерала”.

Помилуй Бог, до чего дойдет?! [...] Того и гляди, что в одно прекрасное утро читатели “Руля” получат “беседу с раскаявшейся мумией Ленина” [...].

Каждый из них на свой лад старается уверить нас, что хотя они и служат большевикам верой и правдой, под красным знаменем III-го интернационала, но на самом деле, не покладая рук, работают во славу и величие России!

Очевидно, что в то время, когда павшие духом эмигранты начинают думать, что царствию большевиков не будет конца, такой уверенности у красных спецов не имеется.

Очередная “Беседа с красным генералом” особенно любопытна.

Ведь это один из тех, кто проделал сложный и грязный путь “от двуглавого орла к красному знамени”. [...].

“Я приехал сюда, — говорит красный генерал, — чтобы повидать

сынка... Сын учится. Он корниловец стоперной пробы. Девять лет уже как не видались!". [...]

Нет, суда современников им бояться нечего!

Да они это и сами знают. Потому так безбоязненно и лезут к нам со своими откровенностями (М. П. Арцыбашев, *Записки писателя*, неизданная глава "Ренегаты", без даты).

ФИЛОСОФОВ ОБ А. БЕЛОМ В БЕРЛИНЕ

Большинство русских писателей так никогда и не научилось хорошо писать на чужом языке, и только некоторые из них нашли переводчиков для своих произведений. В конце концов, главной читательской аудиторией русских писателей-эмигрантов в 1920-х годах были другие изгнанные русские писатели.

Д. Filosofov внимательно следил за публикациями эмигрантов в Берлине. Присутствие в городе А. Белого и Ремизова представляло для него странное противоречие, и в то же время олицетворяло собой размежевание, которое он сознательно охарактеризовал как русскую диаспору в Берлине. Живя воспоминаниями о прошлом и надеясь на его восстановление в будущем, Filosofov уважал связь Ремизова с прошлым, как уважал он и все русское. Каждый раз, когда встречал Ремизова в Берлине, он все более убеждался в нестроениях и смуте в Германии.

Белый, с другой стороны, виделся, по мнению Filosofova, соответствующим революционному качеству Берлинского общества. Сознывая отношение Белого к штейнеровской антропософии, он чувствовал, в то же время, стремление к будущему в работах Белого, что мешало поэту осесть в каком-либо другом эмигрантском центре. Естественно, позиция Filosofova к Белому была критической. В своих воспоминаниях он написал довольно длинную статью о Белом, признавая за последним гениальность, поэтическое дарование и воздействие положительное на русскую поэзию, культуру и мышление:

Андрей Белый, несомненно, относится к типу людей гениальных. Он в некотором роде "одержимый". Иногда не он говорит, а в нем что-то вещает. И это "что-то" не всегда сила добрая. Про него можно сказать словами Достоевского: "широк человек! Слишком широк! Я бы сузил" [...].

Белый не преодолел своего индивидуализма, а на фоне современного разложения русской эмиграции его писания приобретают

характер безответственного сменовеховства, мистического порядка, “чаепития” Достоевского [...].

Когда-то он говорил, что каждый человек как бы лежит на дне высокой, фабричной трубы и смотрит вверх, и видит кружок голубого неба. “Ближних” же не видит и не знает.

Алексей Ремизов в ужасе вопил, что “человек человеку бревно!”.

И не знаешь, что ужаснее: созерцать клочок, только клочок неба, совсем не видеть ближнего, или видеть в своем ближнем бревно (неизданная статья Д. В. Философова, *Андрей Белый и Россия*, август 1922).

В более поздней статье, датированной октябрём 1922 года, Философов описывает реакцию А. Белого на довольно нейтральное и аполитичное письмо, которое он послал в Берлин, допуская, что политика лежит в основе отступничества Белого:

Недели две тому назад, прочитав в газете “Дни” воспоминания Андрея Белого о знаменитой “Башне” Вячеслава Иванова, я послал ему письмо (заказное) по адресу газеты. Совершенно “бесхитростное”, “аполитичное”. Ответа не получил. Объяснил это “почтой”.

Но теперь, когда ознакомился с “Эпопеей”, в душу закралось подленькое сомнение: Да не боится ли Боря Бугаев иметь письменные сношения с “гидрой контр-революции”? Тем более это для меня непонятно, что в своей “Эпопее” он издевается надо мною довольно мягко, не желая, очевидно, расточать громов, по адресу такой “мелкой сошки” как я (Записки Д. В. Философова, октябрь 1922).

Философов записал свои критические впечатления о первой публикации “Эпопеи”, в которой А. Белый пытается соединить “эпохальную” новую эру и использование христианского символизма в конце вступления к “Эпопее” с бледной имитацией блоковской поэтической образности в поэме “Двенадцать”. Философов совершенно отвергает понимание Белым Блока как поэта будущего, и в противоположность Белому истолковывает Блока как символ уничтоженного и безвозвратно ушедшего мира прошлого, который Белый или неверно истолковывает или слепо игнорирует в своем неподвижном, пристальном взгляде в будущее. Философов не видит ничего созидательного в Блоке, не принимает ничего из дионисийского истолкования Белого. Он заключает, что это просто еще один образец попытки угодить новому режиму, склонения к *новой* звезде и приспособляемости к стандартам и требованиям новой литературной политики Советской России:

“Действительность – героическая поэма о многих песнях...”. Так начинается вступительное слово Андрея Белого к новому журналу [...]. “Объективный индивидуализм – гуманизм; он начало буржуазного строя Европы; завершение его – провозглашение права личности (в ущерб индивидуализму), политическая буржуазная французская революция. Так: “Не я, а Христос во мне” апостола Павла становится: “Я, – буржуа – съел Христа... Христос стал “Иваном”, а буржуа стал “Христом” [...].

Мы будем ждать “Звезду”, чтобы, когда заблестит она, пойти в странствие с “магами” прошлой культуры и возложить дары прошлого “Святому Младенцу”; рождение его – подслушено нами”.

Этими словами вступление кончается. Таковы приблизительно чаяния и вещи предчувствия нового журнала. Если в горах живут кретины и орлы, то все таки даже “горные” журналы составляются не крестинами и не орлами, а людьми. В двух книжках “Эпопеи” много самых обыкновенных, ни плохих, ни хороших, “только человеческих” стихов Юргиса Балтрушайтиса, Наталии Крандиевской и др. Охотно верим, что все эти поэты предвкушают появление гармонической эпопеи, но в конце концов это их личное, довольно интимное настроение, в их творчестве не выраженное.

Есть там нечто в роде “Эпоса” Алексея Ремизова, но главное место в журнале занимают “Воспоминания о А. А. Блоке” Андрея Белого [...]. Задачу Белый на себя взял очень трудную, и она ему оказалась не под силу. Получилось смешение стилей, искажение перспективы. [...]

Мережковский верно сказал, что коммунисты живой травинки вырастить не могут. А без живой травинки нет жизни. И коммунисты это уже поняли. Если они подействовали “крушению старого мира”, также, как ему подействовала великая война, то строить-то будут не они. Всякий паршивый нэпман ближе к травинке, нежели Ленин и Бухарин. В этом то и трагедия коммунистов, поскольку они честны. И когда стих Блока “мы на горе всем буржуям – мировой пожар раздуем” стал официальным лозунгом правительства, вроде “Свобода, равенство и братство”, то такому созвучию между Блоком и “правительственной стихией” вряд ли радовался сам Блок.

И чем больше Россия будет строиться, тем более чужд ей будет Блок. Он опять уйдет в скорлупу, для избранных, т. е. станет поэтом, только поэтом.

Белый не хочет этого понять, потому что он только что выскочил из сумасшедшего дома, еще не отделался от кровавой пыли Совдепии.

По существу он, конечно, человек “горный”, не долинный. Но он все-таки живой человек, из мяса и костей. Прибежав в Европу из Евразии, с пыльными сапогами и блуждающими, неясными глазами, он

сел за свой лирический эпос, или же эпическую лирику о Блоке. И в эту свою “эпопею” внес, может быть помимо воли, много пыли, истерики повседневной мелочности.

Чуть не сотню страниц посвящает он Мережковским. Забывая о главной теме своей “эпопей”, о Блоке, он вдруг занялся какими то “личными счетами”. Чувствуется, что он думает только о себе, хочет, во что бы то ни стало, в чем-то оправдаться.

А для само-оправдания лучше всего нападать. Это прием известный. И он с каким-то ожесточением, пользуясь всеми средствами, допускаемыми и недопускаемыми в литературе, набрасывается на них с лаем и визгом.

Прежде всего это не художественно. А главное по существу неверно. О своих отношениях с Мережковским, начавшихся двадцать пять лет тому назад – он рассказывает под настроением человека только что вырвавшегося из “благословенной стихии” коммунистического рая, куда, по разным, может быть даже самым благородным, побуждениям, Белый все-таки хочет вернуться.

Свое разногласие относительно коммунистов Белый переносит в давнюю, дореволюционную историю своих сношений с Мережковскими.

Получается извращение исторической перспективы (такой удел всех мемуаров) и некоторый моральный изъян Белого. Некая искренняя оглядка на власти придерживащие.

Белый, человек “горный”, и когда он спускается в долину – он чувствует себя не на месте, теряет критерии повседневной правды. По своему он был прав, когда, 9-го января 1905 года, в зале Экономического Общества, взгромоздившись на стул, озирает декадентским оком бушующую залу, еще не оправившуюся от пережитого за день.

По своему он был прав, когда наблюдал из Базеля, из храма Антропософа Штейнера – грозу военной непогоды. Но для тех, кто был в гуще революции, в гуще войны (даже помимо своей воли) “горнее созерцание” Белого могло быть не только непонятным, но и оскорбительным. Непонятна для многих и теперешняя его позиция.

Да, старый мир рушился, да, мы живем в предчувствии великой эпопеи. Но выбор все-таки надо делать. Только в сумерках все кошки серы. Уже слишком много кошек для Белого стали серыми. О Бухаринных и Троцких, или обращаясь к “литературе”, о Маяковских, Есениных он молчит, а Кускова в своей “Эпопее” даже печатает. Может быть даже Серапионовы братья ему стали близкими. А вот на Мережковских, которым он столько обязан, он обрушивается всей силой своего огненного слова... (неизданная статья Д. В. Философова, *Эпопея*, август 1922).

ФИЛОСОФОВ О А. РЕМИЗОВЕ

Цельная личность Ремизова была для Философова противоположна Белому, противоположна его политическому и культурному миру. Ремизовский пристальный взгляд на прошлое Философов находил удивительно оригинальным. В восхвалении им ремизовской *России в письменах* чувствуется, что Философов был очарован ею еще в молодости, когда другие еще не принимали всерьез это произведение. Естественен для критика был ремизовский интерес к более эстетически чистой и возвышенной литературе, духовные ценности которой каждый день поднимались все выше в ностальгии по прошлому. Несмотря на ремизовское отвращение к ссорам в литературных баталиях, порой яростных, Философов апеллирует к его творчеству, как к противовесу разрушения и революции. Для Философова Ремизов был возвращением к уникальной культуре России, превознесением ценностей простой жизни и симбиозной связью между русской землей и русской душой, которые были разрушены и уничтожены Октябрьской революцией:

Когда А. М. Ремизов печатал свою "Россию в письменах" отдельными кусками в русских газетах и журналах, начиная с 1914 года, редакторы пожимали плечами, а читатели улыбались [...].

Начинается книга с описания Вологодской бани, где Ремизов парился с "Павлом Елисеевичем". Он не говорит, кто этот "Павел Елисеевич", но мы-то знаем, что это Щеголев, автор многих, крайне ценных исследований о Пушкине. Тогда в Вологде, он под руководством, ныне покойного академика, Шахматова (одного из самых замечательных русских ученых и русских людей) занимался русскими апокрифами и древними русскими повестями. Помнится — Щеголев тогда напечатал в "Записках Академии Наук" исследование об Афродитиане [...].

Если выдержки из него печатались прежде как некий бытовой и литературный курьез, то теперь этот сборник получил совсем особое значение, особый смысл.

Точно вешее сердце этого "обезьяньего царя", этого "суслика", который смотрит на мир испуганными глазами, предсказывало ему, что все скоро рухнет, что наступит пора, когда в апокалипсической "грозе и буре" все будет сметено. Сметена и "старая бумага" Ремизова, его игрушки, составлявшие как бы его музей [...].

Странная, не для всех понятная, но милая и близкая всякому русскому.

Есть в ней запах России. Жарким летом, когда пахнуло пылью и старыми кожами, я проходил по костромскому Гостиному двору, обмо-

тый солнечным пригревом. На сухих, горячих ларях разбросаны были разные пустяки и между ними старинные книги, картины, обрывки бумаг [...].

А нам эмигрантам эти напоминания о вкусе и запахе старой России, когда мы находимся на чужбине, и сладки и приятны.

Само собой разумеется, что этим не исчерпывается содержание книги. В ней много и очень существенного в историческом отношении (неизданная статья Д. В. Философова, *Бытовая Россия*, декабрь 1922).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1926 году, вернувшись в Варшаву, Философов дал финальную и, до некоторой степени, негативную оценку Русского Берлина:

Умственными центрами эмиграции в настоящее время несомненно являются Париж и Прага, Берлину же принадлежит лишь третье место. Причины этой передвижки лежат исключительно в экономических условиях существования здесь русских эмигрантов [...].

Эмигрантские "предприниматели" не обладали сколько-нб. крупными денежными средствами в золотой валюте [...].

Разные увеселительные места и специально издательское дело стали чахнуть раньше других предприятий. Эти фирмы жили исключительно спросом самой же эмиграции, а потому понижение материальных ресурсов более зажиточной части эмигрантов сказалось на эти делах прежде всего. Спрос на книгу разом упал... Для книжного дела вскоре получилось то нелепое положение, что деньги сохранились еще как раз у тех кругов эмиграции, которые вообще мало читают и еще меньше покупают книги, и вовсе их не оказалось у тех, кто являлся, так сказать, исконным потребителем этого товара. Большинство издателей в конце концов вылетело в трубу, а оставшиеся, за исключением "Слова", стали выпускать на рынок книги, приспособленные преимущественно для легкого чтения. Впрочем, главным поставщиком этой с позволения сказать, макулатуры оказались даже не наши берлинские издательства, а Рига, откуда изливается в последнее время буквально целый дождь романов самого сногшибательного свойства.

Подводя итоги нашей коммерческой деятельности в Берлине, с грустью приходится констатировать, что все наши предприятия жили преимущественно способом самой же эмиграции, [...] и не смогли пустить сколько-нб. прочных корней в местной туземной почве. Как только это стало выясняться, коммерческий люд потянулся во

Францию, а за “базисом” понемногу стала перекочевывать туда же и “надстройка” — эмигрантская интеллигенция.

Сколько сейчас осталось русских эмигрантов в Германии — определенно трудно сказать [...]. В настоящее время русских эмигрантов в Берлине насчитывается, я думаю, никак не менее ста тысяч человек. Колония, таким образом, и теперь внушительная, но материально и интеллектуально сильно обедневшая. [...] средств для удовлетворения ее поступает все меньше и меньше. Все прежние крупные жертвователи давным давно поразъехались из Берлина.

При таких условиях русская культурная жизнь здесь очень понизилась. Много реже стали устраиваться различные эмигрантские собрания, лекции, рефераты. Из газет остался один “Руль”, да и тот значительно менее распространен, чем прежде. Едва дышет русский научный институт — наш русский университет; прежде в нем насчитывалось 800-900 студентов, а ныне и ста не наберется [...].

В смысле духовном “отцы” и “дети” — почти разных два мира. Первые жили и живут мечтой о Родине, в той или иной мере интересуются политикой, многие их вторых родину знают плохо или совсем ее не помнят, настроены более материалистически и невольно втягиваются в интересы окружающей их жизни. Наглядным тому примером может служить публика наших лекций и рефератов: молодежи я тут почти никогда не вижу (Записки Д. В. Filosofova, *Русские эмигранты в Берлине*, март 1926).

Слова Filosofova о Берлине были довольно противоречивы, нередко слишком бескомпромиссными. Однако они являются взглядами известного русского беллетриста, к словам которого очень прислушались. Резкое мнение Filosofova и его характеристика русского Берлина в 1920-х годах следует воспринимать не как субъективное суждение Filosofova, но скорее как его документальную летопись и оценку мозаики эмигрантской жизни и культуры 1920-х годов. Литературная жизнь русского Берлина отличалась от культуры русских Парижа, Праги и Варшавы, и, как показывают вышеприведенные выписки из воспоминаний Filosofova, эти различия могут быть лучше поняты со стороны.

GASTSPIEL DES THEATERS "KIKIMORA" KÜNSTLERISCHE OBERLEITUNG SAM VERMEIL

DER SCHLEIER DER PIERRETTE

Pantomime in drei Akten

ARTHUR SCHNITZLER

22 September 1922

4 Oktober 1922

R[egisseur]
B[ühnenbilder]
M[usicien]
D[irigenten]
C[horeographen]

Sam Vermeil
Sofia Fedorova II
A. Volosin
E. Malsova
A. Chaborv
M. Jaszinskij
A. Aleksandrov
A. Melhers
M. Duss
G. Valetov
W. Pik
S. Valjano
G. Juriev

W. Zamuhovskaja
A. Melhers
L. Shubaeva
W. Gisiko
D. Pogorelskij
M. Jaszinskij
E. Krestini
E. Ridan

KS [Kammerspiele]

13 [Performances]

A. Cabrov
Natal'ja Goncharova
Ernst v. Dohnányi
Heinrich Forter [Henri Forterre]
Elisabeth Anderson

Pierrot
Pierrette
Pierrettens Vater
Pierrettens Mutter
Arlechino
Florestan
Fred
Alumette
Annette
Gigolo
ein Kavierspieler
ein Geigenspieler
ein Klarinettist

T. Oksinskaja
L. Alekseevna [sic]
N. Falevich
N. Haleff
W. Hochlowskij
W. Jurkevich
A. Memorskij
W. Penevskij

Damen, Herren, Diene